



## РОМАН БЕЗ ГЕРОЯ

Чувство глубокой грусти охватывает Кукольника, когда он сидит на подмостках и смотрит на Ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, влюбляются и изменяют, кто плачет, а кто радуется; здесь курят, плутают, дерутся и пляшут под пиликанье скрипки; здесь шатаются буяны и забияки, повесы подмигают проходящим женщинам, жулье шныряет по карманам, полицейские глядят в оба, шарлатаны (не мы, а другие, чума их задави) бойко зазывают публику; деревенские олухи таращаются на мишурные наряды танцовщиц и на жалких, густо нарумяненных старишек-клоунов, между тем как ловкие воришки, подкравшись сзади, очищают карманы зевак. Да, вот она, *Ярмарка Тщеславия*; место нельзя сказать чтобы назидательное, да и не слишком веселое, несмотря на царящий вокруг шум и гам. А посмотрите вы на лица комедиантов и шутов, когда они не заняты делом и Том-дурак, смыв со щек краску, садится полдничать со своей женой и маленьkim глупышкой Джеком, укрывшись за серой холстиной. Но скоро занавес поднимут, и вот уже Том опять кувыркается через голову и орет во всю глотку: «Наше вам почтение!»

Человек, склонный к раздумью, случись ему бродить по такому гульбищу, не будет, я полагаю, чересчур удручен ни своим, ни чужим весельем. Какой-нибудь смешной или трогательный эпизод, быть может, уми-

лит его или позабавит: румяный мальчуган, заглядевшийся на лоток с пряниками; хорошенькая плутовка, краснеющая от любезностей своего кавалера, который выбирает ей ярмарочный подарок; или Том-дурак — прикорнувший позади фургона бедняга сосет обглоданную кость в кругу своей семьи, которая кормится его скоморошеством. Но все же общее впечатление скорее грустное, чем веселое. И, вернувшись домой, вы садитесь, все еще погруженный в глубокие думы, не чуждые сострадания к человеку, и беретесь за книгу или за прерванное дело.

Вот и вся мораль, какую я хотел бы предпослать своему рассказу о Ярмарке Тщеславия. Многие самого дурного мнения о ярмарках и сторонятся их со своими чадами и домочадцами; быть может, они и правы. Но люди другого склада, обладающие умом ленивым, снисходительным или насмешливым, пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса и посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные: кровопролитные сражения, величественные и пышные карусели, сцены из великосветской жизни, а также из жизни очень скромных людей, любовные эпизоды для чувствительных сердец, а также комические, в легком жанре, — и все это обставлено подходящими декорациями и щедро иллюминировано свечами за счет самого автора.

Что еще может сказать Кукольник? Разве лишь упомянуть о благосклонности, с какой представление было принято во всех главнейших английских городах, где оно побывало и где о нем весьма благоприятно отзывались уважаемые представители печати, а также местная знать и дворянство. Он гордится тем, что его марионетки доставили удовольствие самому лучшему обществу нашего государства. Знаменитая кукла Бекки проявила необычайную гибкость в суставах и оказалась весьма проворной на проволоке; кукла Эмилия, хоть и снискавшая куда более ограниченный круг поклонников, все же отделана художником и разодета с

величайшим старанием; фигура Доббина, пусть и неуклюжая с виду, пляшет преестественно и презабавно; многим понравился танец мальчиков. А вот, обратите внимание на богато разодетую фигуру Нечестивого Вельможи, на которую мы не пожалели никаких издержек и которую в конце этого замечательного представления унесет черт.

Засим, отвесив глубокий поклон своим покровителям, Кукольник уходит, и занавес поднимается.

*Лондон, 28 июня 1848 г.*

## Глава I ЧИЗИКСКАЯ АЛЛЕЯ

Однажды ясным июньским утром, когда нынешний век был еще зеленым юнцом, к большим чугунным воротам пансиона для молодых девиц под началом мисс Пинкертон, расположенного на Чизикской аллее, подкатила со скоростью четырех миль в час вместительная семейная карета, запряженная парой откормленных лошадей в блестящей сбруе, с откормленным кучером в треуголке и папике. Как только экипаж остановился у ярко начищенной медной доски с именем мисс Пинкертон, чернокожий слуга, дремавший на козлах рядом с толстяком кучером, расправил кривые ноги, и не успел он дернуть за шнурок колокольчика, как, по крайней мере, два десятка юных головок выглянуло из узких окон старого внушительного дома. Зоркий наблюдатель мог бы даже узнать красный носик добродушной мисс Джемаймы Пинкертон, выглянувший из-за горшков герани в окне ее собственной гостиной.

— Это карета миссис Седли, сестрица, — доложила мисс Джемайма. — Звонит чернокожий лакей Самбо. Представьте, на кучере новый красный жилет!

— Вы закончили все приготовления к отъезду мисс Седли, мисс Джемайма? — спросила мисс Пинкертон, величественная дама — хэммерсмитская Семирамида, друг доктора Джонсона, доверенная корреспондентка самой миссис Шапон.

— Девочки поднялись в четыре утра, чтобы уложить ее сундуки, сестрица, — отвечала мисс Джемайма, — и мы собрали ей целый пук цветов.

— Скажите «букет», сестра Джемайма, так будет благороднее.

— Ну, хорошо, букет, и очень большой, чуть ли не с веник. Я положила в сундук Эмилии две бутылки гвоздичной воды для миссис Седли и рецепт приготовления.

— Надеюсь, мисс Джемайма, вы приготовили счет мисс Седли? Ах, вот он! Очень хорошо! Девяносто три фунта четыре шиллинга. Будьте добры адресовать его Джону Седли, эсквайру, и запечатать вот эту записку, которую я написала его супруге.

Для мисс Джемаймы каждое собственноручное письмо ее сестры, мисс Пинкerton, было священно, как послание какой-нибудь коронованной особы. Известно, что мисс Пинкerton самолично писала родителям учениц только в тех случаях, когда ее питомицы покидали заведение или же выходили замуж, да еще как-то раз, когда бедняжка мисс Берч умерла от скарлатины. По мнению мисс Джемаймы, если что и могло утешить миссис Берч в утрате дочери, то, конечно, только возвышенное и красноречивое послание, в котором мисс Пинкerton сообщала ей об этом событии.

На этот раз записка мисс Пинкerton гласила:

«Чизик, Аллея, июня 15 дня 18.. г.

**Милостивая государыня!**

После шестилетнего пребывания мисс Эмилии Седли в пансионе я имею честь и удовольствие рекомендовать ее родителям в качестве молодой особы, вполне достойной занять подобающее положение в их избранном и изысканном кругу. Все добродетели, отличающие благородную английскую барышню, все совершенства, подобающие ее происхождению и положению, присущи милой мисс Седли; ее *прилежание и послушание* снискали ей любовь наставников, а прелестной кротостью нрава она расположила к себе все сердца, как юные, так и более *пожилые*.

В музыке и танцах, в правописании, во всех видах вышивания и рукodelия она, без сомнения, осуществит са-

мые пламенные пожелания своих друзей. В географии ее успехи оставляют желать лучшего; кроме того, рекомендуется в течение ближайших трех лет неукоснительно пользоваться по четыре часа в день спинной линейкой, как средством для приобретения той достойной осанки и грации, которые столь необходимы каждой светской молодой девице.

В отношении правил благочестия и нравственности мисс Седли покажет себя достойной того Заведения, которое было почитено посещением *Великого лексикографа* и покровительством несравненной миссис Шапон. Покидая Чизик, мисс Эмилия увозит с собою привязанность подруг и искреннее расположение начальницы, имеющей честь быть вашей,

милостивая государыня,  
покорнейшей и нижайшей слугой,

*Барбароу Пинкертон.*

P. S. Мисс Седли едет в сопровождении мисс Шарп. Особая просьба: пребывание мисс Шарп на Рассел-сквер не должно превышать десяти дней. Знатное семейство, с которым она договорилась, желает располагать ее услугами как можно скорее».

Закончив письмо, мисс Пинкертон приступила к начертанию своего имени и имени мисс Седли на титуле Словаря Джонсона — увлекательного труда, который она неизменно преподносила своим ученицам в качестве прощального подарка. На переплете было вытиснено: «Молодой девице, покидающей школу мисс Пинкертон на Чизикской аллее — обращение блаженной памяти досточтимого доктора Сэмюела Джонсона». Нужно сказать, что имя лексикографа не сходило с уст величавой дамы и его памятное посещение положило основу ее репутации и благосостоянию.

Получив от старшей сестры приказ достать Словарь из шкафа, мисс Джемайма извлекла из упомянутого хранилища два экземпляра книги, и когда мисс Пинкертон кон-

чила надписывать первый, Джемайма не без смущения и робости протянула ей второй.

— Для кого это, мисс Джемайма? — произнесла мисс Пинкerton с ужасающей холодностью.

— Для Бекки Шарп, — ответила Джемайма, трепеща всем телом и слегка отвернувшись, чтобы скрыть от сестры румянец, заливший ее увядшее лицо и шею. — Для Бекки Шарп; ведь и она уезжает.

— МИСС ДЖЕМАЙМА! — воскликнула мисс Пинкертон. (Выразительность этих слов требует передачи их прописными буквами.) — Да вы в своем ли уме? Поставьте Словарь в шкаф и впредь никогда не позволяйте себе подобных вольностей!

— Но, сестрица, ведь всей книге цена два шиллинга — десять пенсов, а для бедняжки Бекки это такая обида.

— Пришли мне сейчас же мисс Седли, — сказала мисс Пинкертон.

И бедная Джемайма, не смея больше произнести ни слова, выбежала из комнаты в полном расстройстве чувств.

Мисс Седли была дочерью лондонского купца, человека довольно состоятельного, тогда как мисс Шарп училась в пансионе на положении освобожденной от платы ученицы, обучающей младших, и, по мнению мисс Пинкертон, для нее и без того было довольно сделано, чтобы еще удостаивать ее на прощанье высокой чести поднесения Словаря.

Хотя письмам школьных наставниц можно доверять не больше, чем надгробным эпитафиям, однако случается, что почивший и на самом деле заслуживает всех тех похвал, которые каменотес высек над его останками: он действительно был примерным христианином, преданным родителем, любящим чадом, супругой или супругом и воистину оставил безутешную семью, оплакивающую его. Так и в училищах, мужских и женских, иной раз бывает, что питомец вполне достоин похвал, расточаемых ему беспристрастным наставником. Мисс Эмилия Седли принадлежала к этой редкой разновидности молодых девиц. Она не только заслуживала всего того, что мисс Пинкертон написала ей в похвалу, но и обладала еще многими очарованиями.

тельными свойствами, которых не могла видеть эта напыщенная и престарелая Минерва вследствие разницы в положении и возрасте между нею и ее воспитанницей.

Эмилия не только пела, словно жаворонок или какая-нибудь миссис Биллингтон, и танцевала, как Хилисберг или Паризо, она еще прекрасно вышивала, знала право-писание не хуже самого Словаря, а главное, обладала таким добрым, нежным, кротким и великолдушным сердцем, что располагала к себе всех, кто только к ней приближался, начиная с самой Минервы и кончая бедной судомойкой или дочерью кривой пирожницы, которой позволялось раз в неделю сбывать свои изделия пансионеркам. Из двадцати четырех товарок у Эмилии было двенадцать закадычных подруг. Даже завистливая мисс Бригс никогда не отзывалась о ней дурно; высокомерная и высокородная мисс Солтайр (внучка лорда Декстера) признавала, что у нее благородная осанка, а богачка мисс Суорц, курчавая мулатка с Сент-Китса, в день отъезда Эмилии разразилась таким потоком слез, что пришлось послать за доктором Флоссом и одурманить ее нюхательными солями. Привязанность мисс Пинкerton была, как оно и должно, спокойной и полной достоинства, в силу высокого положения и выдающихся добродетелей этой леди, зато мисс Джемайма уже не раз принималась рыдать при мысли о разлуке с Эмилией; если бы не страх перед сестрой, она впала бы в форменную истерику, под стать наследнице с Сент-Китса (с которой взималась двойная плата). Но такое роскошество в изъявлении печали позволительно только воспитанницам, занимающим отдельную комнату, между тем как честной Джемайме полагалось заботиться о счетах, стирке, штопке, пудингах, столовой и кухонной посуде да наблюдать за прислугой. Однако стоит ли нам ею интересоваться? Весьма возможно, что с этой минуты и до скончания века мы уже больше о ней не услышим, и как только узорчатые чугунные ворота закроются, ни она, ни ее грозная сестра не покажутся более из них, чтобы шагнуть в маленький мирок этого повествования.

Но с Эмилией мы будем видеться очень часто, а потому не мешает сказать в самом же начале нашего знакомства,

что она была прелестным существом; а это великое благо и в жизни, и в романах (последние в особенности изобилуют злодеями самого мрачного свойства), когда удается иметь своим неизменным спутником такое невинное и доброе создание! Так как она не героиня, то нет надобности описывать ее: боюсь, что нос у нее несколько короче, чем это желательно, а щеки слишком уж круглы и румяны для героини. Зато ее лицо цвело здоровьем, губы — свежестью улыбки, а глаза сверкали искренней, неподдельной жизнерадостностью, кроме тех, конечно, случаев, когда они наполнялись слезами, что бывало, пожалуй, слишком часто: эта дурочка способна была плакать над мертвой канарейкой, над мышкой, невзначай пойманной котом, над развязкой романа, хотя бы и глупейшего. А что касается неласкового слова, обращенного к ней, то если бы нашлись такие жестокосердные люди... Впрочем, тем хуже для них! Даже сама мисс Пинкerton, женщина суровая и величественная, после первого же случая перестала бранить Эмилию, и хотя была способна к пониманию чувствительных сердец не более, чем алгебры, однако отдала особый приказ всем учителям и наставницам обращаться с мисс Седли возможно деликатнее, так как строгое обхождение ей вредно.

Когда наступил день отъезда, мисс Седли стала в тупик, не зная, что ей делать: смеяться или плакать, — так как она была одинаково склонна и к тому и к другому. Она радовалась, что едет домой, и страшно горевала, что надо расставаться со школой. Уже три дня маленькая Лора Мартин, круглая сиротка, ходила за ней по пятам, как собачонка. Эмилии пришлось сделать и принять по крайней мере четырнадцать подарков и четырнадцать раз дать торжественную клятву писать еженедельно. «Посытай мне письма по адресу моего дедушки, графа Декстера», — наказывала ей мисс Солтайр (кстати сказать, род ее был из захудальных). «Не зaborься о почтовых расходах, мое золотко, и пиши мне каждый день!» — просила пылкая, привязчивая мисс Суорц. А малютка Лора Мартин (оказавшаяся тут как тут) взяла подругу за руку и сказала, пытливо за-

глядывая ей в лицо: «Эмилия, когда я буду тебе писать, можно называть тебя мамой?»

Я не сомневаюсь, что какой-нибудь Джонс, читающий эту книгу у себя в клубе, не замедлит рассердиться и назовет все это глупостями — пошлыми и вздорными сантиментами. Я так и вижу, как оный Джонс (слегка раскрасневшийся после порции баранины и полпинты вина) вынимает карандаш и жирной чертой подчеркивает слова: «пошлыми, вздорными» и т. д. и подкрепляет их собственным восклицанием на полях: «Совершенно верно!» Ну что ж! Джонс человек обширного ума, восхищающийся великим и героическим как в жизни, так и в романах, — и лучше ему вовремя спохватиться и поискать другого чтения.

Итак, будем продолжать. Цветы, сундуки, подарки и шляпные картонки мисс Седли уже уложены мистером Самбо в карету вместе с потрепанным кожаным чемоданчиком, к которому чья-то рука аккуратно приколола карточку мисс Шарп и который Самбо подал ухмыляясь, а кучер водворил на место с подобающим слушаю фырканьем. И вот настал час разлуки. Его печаль была в значительной мере развеяна примечательной речью, с которой мисс Пинкerton обратилась к своей питомице. Нельзя сказать, чтобы это прощальное слово побудило Эмилию к философским размышлению или же вооружило ее тем спокойствием, которое осеняет нас в результате глубокомысленных доводов. Нет, речь эта была невыносимо скучна, напыщена и суха, да и самый вид грозной воспитательницы не располагал к бурным проявлениям печали. В гостиной было предложено угождение: тминные сухарики и бутылка вина, как это полагалось в торжественных случаях, при посещении пансиона родителями воспитанниц; и когда угождение было съедено и выпито, мисс Седли получила возможность тронуться в путь.

— А вы, Бекки, не зайдете проститься с мисс Пинкертон? — обратилась мисс Джемайма к молодой девушке: не замеченная никем, она спускалась с лестницы со шляпной картонкой в руках.

— Я полагаю, что должна это сделать, — спокойно ответила мисс Шарп, к великому изумлению мисс Джемаймы;

и когда мисс Джемайма постучалась в дверь и получила разрешение войти, мисс Шарп вошла с весьма непринужденным видом и произнесла на безукоризненном французском языке:

— Mademoiselle, je viens vous faire mes adieux<sup>1</sup>.

Мисс Пинкerton не понимала по-французски, она только руководила теми, кто знал этот язык. Закусив губу и вздернув украшенную римским носом почтенную голову (на макушке которой покачивался огромный пышный тюрбан), она прощедила сквозь зубы: «Мисс Шарп, всего вам хорошего». Произнеся эти слова, хэммерсмитская Семирамида сделала мановение рукой, как бы прощаюсь и вместе с тем давая мисс Шарп возможность пожать ее на рочито выставленный для этой цели палец.

Мисс Шарп только скрестила руки и с очень холодной улыбкой присела, решительно уклоняясь от предложен ной чести, на что Семирамида с большим, чем когда-либо, негодованием тряхнула тюрбаном. Собственно говоря, это была маленькая баталия между молодой женщиной и старой, причем последняя оказалась побежденной.

— Да хранит вас бог, дитя мое! — произнесла она, обнимая Эмилию и грозно хмуриясь через ее плечо в сторону мисс Шарп.

— Пойдем, Бекки! — сказала страшно перепуганная мисс Джемайма, увлекая за собой молодую девушку, и дверь гостиной навсегда закрылась за строптивицей.

Затем начались суматоха и прощание внизу. Словами этого не выразить. В прихожей собралась вся прислуга, все милые сердцу, все юные воспитанницы и только что приехавший учитель танцев. Поднялась такая кутерьма, пошли такие объятия, поцелуи, рыдания вперемежку с истерическими взвизгиваниями привилегированной пансионерки мисс Сурц, доносившимися из ее комнаты, что никаким пером не описать, и нежному сердцу лучше пройти мимо этого. Но объятиям пришел конец, и подруги расстались, — то есть рассталась мисс Седли со своими подругами. Мисс Шарп уже несколькими минутами раньше,

---

<sup>1</sup> Мадемуазель, я пришла проститься с вами (*grp.*).

поджав губки, уселась в карету. Никто не плакал, расставаясь с нею.

Кривоногий Самбо захлопнул дверцу за своей рыдавшей молодой госпожой и вскочил на запятки.

— Стой! — закричала мисс Джемайма, кидаясь к воротам с каким-то свертком.

— Это сандвичи, милочка! — сказала она Эмилии. — Ведь вы еще успеете проголодаться. А вам, Бекки... Бекки Шарп, вот книга, которую моя сестра, то есть я... ну, словом... Словарь Джонсона. Вы не можете уехать от нас без Словаря. Прощайте! Трогай, кучер! Благослови вас бог!

И доброе создание вернулось в садик, обуреваемое волнением.

Но что это? Едва лошади тронули с места, как мисс Шарп высунула из кареты свое бледное лицо и швырнула книгу в ворота.

Джемайма чуть не упала в обморок от ужаса.

— Да что же это!.. — воскликнула она. — Какая дерзкая...

Волнение помешало ей кончить и ту и другую фразу. Карета покатила, ворота захлопнулись, колокольчик зазвонил к уроку танцев. Целый мир открывался перед обеими девушками. Итак, прощай, Чизикская аллея!

## Глава II,

### В КОТОРОЙ МИСС ШАРП И МИСС СЕДЛИ ГОТОВЯТСЯ К ОТКРЫТИЮ КАМПАНИИ

После того как мисс Шарп совершила геройский поступок, упомянутый в предыдущей главе, и удостоверилась, что Словарь, перелетев через мощеную дорожку, упал к ногам изумленной мисс Джемаймы, лицо молодой девушки, смертельно-бледное от злобы, озарилось улыбкой, едва ли, впрочем, скрасившей его, и, со вздохом облегчения откинувшись на подушки кареты, она сказала:

— Так, со Словарем покончено! Слава богу, я вырвалась из Чизика!

Мисс Седли была поражена дерзкой выходкой, пожалуй, не меньше самой мисс Джемаймы. Шутка ли — ведь всего минуту назад она покинула школу, и впечатления прошедших шести лет еще не померкли в ее душе. Страхи и опасения юного возраста не оставляют некоторых людей до конца жизни. Один мой знакомец, джентльмен шестидесяти восьми лет, как-то за завтраком сказал мне с взволнованным видом:

— Сегодня мне снилось, будто меня высек доктор Рейн!

Воображение перенесло его в эту ночь на пятьдесят пять лет назад. В шестьдесят восемь лет доктор Рейн и его розга казались ему в глубине души такими же страшными, как и в тринацать. А что, если бы доктор с длинной березовой розгой предстал перед ним во плоти даже теперь, когда ему исполнилось шестьдесят восемь, и сказал грозным голосом: «Ну-ка, мальчик, снимай штаны!» Да, да, мисс Седли была чрезвычайно встревожена этой дерзкой выходкой.

— Как это можно, Ребекка? — произнесла она наконец после некоторого молчания.

— Ты думаешь, мисс Пинкerton выскочит за ворота и прикажет мне сесть в карцер? — сказала Ребекка, смеясь.

— Нет, но...

— Ненавижу весь этот дом, — продолжала в бешенстве мисс Шарп. — Хоть бы мне никогда его больше не видеть. Пусть бы он провалился на самое дно Темзы! Да, уж если бы мисс Пинкerton оказалась там, я не стала бы выуживать ее, ни за что на свете! Ох, поглядела бы я, как она плывет по воде вместе со своим тюрбаном и всем прочим, как ее шлейф полощется за ней, а нос торчит кверху, словно нос лодки!

— Тише! — вскричала мисс Седли.

— А что, разве черный лакей может нафискалить? — воскликнула мисс Ребекка со смехом. — Он еще, чего доброго, вернется и передаст мисс Пинкerton, что я ненавижу ее всеми силами души! Ох, как бы я хотела этого. Как я мечтаю доказать ей это на деле. За два года я видела от нее только оскорблений и обиды. Со мной обращались хуже, чем с любой служанкой на кухне. У меня никогда не было ни единого друга. Я ласкового слова ни от кого не слышала.

ла, кроме тебя. Меня заставляли присматривать за девочками из младшего класса и болтать по-французски со взрослыми девицами, пока мне не опротивел мой родной язык! Правда, я ловко придумала, что заговорила с мисс Пинкертон по-французски? Она не понимает ни пол слова, но ни за что не признается в этом. Гордость не позволяет. Я думаю, она потому и рассталась со мной. Итак, благодарение богу за французский язык! Vive la France! Vive l'Empereur! Vive Bonaparte!<sup>1</sup>

— О Ребекка, Ребекка, как тебе не стыдно! — ужаснулась мисс Седли (Ребекка дошла до величайшего богохульства; в те дни сказать в Англии: «Да здравствует Бонапарт!» — было все равно что сказать: «Да здравствует Люцифер!»). — Ну, как ты можешь... Откуда у тебя эти злобные, эти мстительные чувства?

— Месть, может быть, и некрасивое побуждение, но вполне естественное, — отвечала мисс Ребекка. — Я не ангел.

И она действительно не была ангелом. Ибо если в течение этого короткого разговора (происходившего, пока карета лениво катила вдоль реки) мисс Ребекка Шарп имела случай дважды возблагодарить бога, то первый раз это было по поводу освобождения от некоей ненавистной ей особы, а во второй — за ниспосланную ей возможность в некотором роде посрамить своих врагов; ни то, ни другое не является достойным поводом для благодарности творцу и не может быть одобрено людьми кроткими и склонными к всепрощению. Но мисс Ребекка в ту пору своей жизни не была ни кроткой, ни склонной к всепрощению. Все обходятся со мной плохо, решила эта юная мизантропка. Мы, однако, уверены, что особы, с которыми все обходятся плохо, полностью заслуживают такого обращения. Мир — это зеркало, и он возвращает каждому его собственное изображение. Нахмурьтесь — и он, в свою очередь, кисло взглянет на вас; засмейтесь ему и вместе с ним — и он станет вашим веселым, милым товарищем; а потому пусть

---

<sup>1</sup> Да здравствует Франция! Да здравствует император! Да здравствует Бонапарт! (*фр.*)

молодые люди выбирают, что им больше по вкусу. В самом деле, если мир пренебрегал Ребеккой, то и она, сколько известно, никогда никому не сделала ничего хорошего. Так нельзя и ожидать, чтобы все двадцать четыре молодые девицы были столь же милы, как героиня этого произведения, мисс Седли (которую мы избрали именно потому, что она добрее других, — а иначе что помешало бы нам поставить на ее место мисс Суорц, или мисс Крамп, или мисс Хопкинс?); нельзя ожидать, чтобы каждая обладала таким смиренным и кротким нравом, как мисс Эмилия Седли, чтобы каждая старалась, пользуясь всяким удобным случаем, победить угрюмую злобность Ребекки и с помощью тысячи ласковых слов и любезных одолжений преодолеть, хотя бы ненадолго, ее враждебность к людям.

Отец мисс Шарп был художник и давал уроки рисования в школе мисс Пинкerton. Человек одаренный, приятный собеседник, беспечный служитель муз, он отличался редкой способностью влезать в долги и пристрастием к картошке. В пьяном виде он нередко колачивал жену и дочь и на следующее утро, поднявшись с головной болью, честил весь свет за пренебрежение к его таланту и поносил — весьма остроумно, а иной раз и совершенно справедливо — дураков-художников, своих собратий. С величайшей трудностью поддерживая свое существование и задолжав всем в Сохо, где он жил, на мило кругом, он решил поправить свои обстоятельства женитьбой на молодой женщине, француженке по происхождению и балетной танцовщице по профессии. О скромном призвании своей родительницы мисс Шарп никогда не распространялась, но зато не забывала упомянуть, что Антраша — именитый гасконский род, и очень гордилась своим происхождением. Любопытно заметить, что по мере житейского преуспеяния нашей тщеславной молодой особы ее предки повышались в знатности и благородству.

Мать Ребекки получила кое-какое образование, и дочь ее отлично говорила по-французски, с парижским выговором. В то время это было большой редкостью, что и при-

вело к поступлению Ребекки в пансион добродетельной мисс Пинкerton. Дело в том, что, когда мать девушки умерла, отец, видя, что ему не оправиться после третьего припадка *delirium tremens*<sup>1</sup>, написал мисс Пинкертон мужественное и трогательное письмо, поручая сиротку ее покровительству, и затем был опущен в могилу, после того как два судебных исполнителя поругались над его трупом. Ребекке минуло семнадцать лет, когда она явилась в Чизик и была принята на особых условиях; в круг ее обязанностей, как мы видели, входило говорить по-французски, а ее права заключались в том, чтобы, получая даровой стол и квартиру, а также несколько гиней в год, подбирать крохи знаний у преподавателей, обучающих пансионерок. Ребекка была маленькая, хрупкая, бледная, с рыжеватыми волосами; ее зеленые глаза были обычно опущены долу, но, когда она их поднимала, они казались необычайно большими, загадочными и манящими, такими манящими, что преподобный мистер Крисп, новоиспеченный помощник чизикского викария мистера Флауэрдью, только что со студенческой скамьи в Оксфорде, влюбился в мисс Шарп: он был сражен наповал одним ее взглядом, который она метнула через всю церковь — от скамьи пансионерок до кафедры проповедника. Бедный юноша, иногда пивший чай у мисс Пинкертон, которой он был представлен своей мамашей, совсем одурел от страсти и в перехваченной записке, вверенной одноглазой пирожнице для доставки по назначению, даже намекал на что-то вроде брака. Миссис Крисп была вызвана из Бакстона и немедленно увезла своего дорогого мальчика, но даже мысль о появлении такой вороньи в чизикской голубятне приводила в трепет мисс Пинкертон, и она обязательно удалила бы Ребекку из своего заведения, если бы не была связана неустойкой по договору; она так и не поверила клятвам молодой девушки, что та ни разу не обменялась с мистером Криспом ни единственным словом, кроме тех двух случаев, когда встречалась с ним за чаем на глазах у самой мисс Пинкертон.

---

<sup>1</sup> Белой горячки (*лат.*).

Рядом с другими, рослыми и цветущими, воспитанницами пансиона Ребекка Шарп казалась ребенком. Но она обладала печальной особенностью бедняков — преждевременной зрелостью. Скольких несговорчивых кредиторов приходилось ей уламывать и выпроваживать за отцовские двери; скольких торговцев она умасливала и улещала, приводя их в хорошее расположение духа и приобретая тем возможность лишний раз побеждать. Дома она обычно проводила время с отцом, который очень гордился своей умненькой дочкой, и прислушивалась к беседам его приятелей-забулдыг, хотя часто разговоры эти мало подходили для детских ушей. По ее же собственным словам, она никогда не была ребенком, чувствовала себя взрослой уже с восьмилетнего возраста. О, зачем мисс Пинкертон впустила в свою клетку такую опасную птицу!

Дело в том, что старая дама считала Ребекку смиреннейшим в мире созданием — так искусно умела та разыгрывать роль *ingénue*<sup>1</sup> в тех случаях, когда отец брал ее с собой в Чизик. Всего лишь за год до заключения условия с Ребеккой, то есть когда девочке было шестнадцать лет, мисс Пинкертон торжественно и после подобающей слушаю краткой речи подарила ей куклу, которая, кстати сказать, была конфискована у мисс Суиндл, украдкой нянчившей ее в часы занятий. Как хотели отец с дочерью, когда брали домой после вечера у начальницы, обсуждая речи приглашенных учителей, и в какую ярость пришла бы мисс Пинкертон, если бы увидела карикатуру на самое себя, которую маленькая комедиантка умудрилась смастерить из этой куклы! Ребекка разыгрывала с нею целые сцены на великую потеху Ньюмен-стрит, Джерард-стрит и всему артистическому кварталу. И молодые художники, заходившие на стакан грога к своему ленивому и разгульному старшему товарищу, умнице и весельчаку, всегда осведомлялись у Ребекки, дома ли мисс Пинкертон. Она, бедняжка, была им так же хорошо известна, как мистер Лоренс и президент Уэст. Однажды Ребекка удостоилась чести провести в Чизике несколько дней и по возвраще-

---

<sup>1</sup> Простушки (*fr.*).

нии соорудила себе другую куклу — мисс Джемми; ибо хотя эта добрая душа не пожалела для сиротки варенья и сухариков, накормив ее до отвала, и даже сунула ей на прощанье семь шиллингов, однако чувство смешного у Ребекки было так велико — гораздо сильнее чувства признательности, — что она принесла мисс Джемми в жертву столь же безжалостно, как и ее сестру.

И вот после смерти матери девочка была перевезена в пансион, который должен был стать ее домом. Строгая его чинность угнетала ее; молитвы и трапезы, уроки и прогулки, сменявшие друг друга с монастырской монотонностью, тяготили ее выше всякой меры. Она с таким сожалением вспоминала о свободной и нищей жизни дома, в старой мастерской, что все, да и она сама, думали, что она изнывает, горюя об отце. Ей отвели комнатку на чердаке, и служанки слышали, как Ребекка мечтается там по ночам, рыдая. Но рыдала она от бешенства, а не от горя. Если раньше ее нельзя было назвать лицемеркой, то теперь одиночество научило ее притворяться. Она никогда не бывала в обществе женщин; отец ее, при всей своей распущенности, был человеком талантливым; разговор с ним был для нее в тысячу раз приятней болтовни с теми представительницами ее пола, с которыми она теперь столкнулась. Спесивое чванство старой начальницы школы, глупое добродушие ее сестры, пошлая болтовня и свары старших девиц и холодная корректность воспитательниц однаково бесили Ребекку.

Не было у бедной девушки и нежного материнского сердца, иначе щебетание и болтовня младших детей, порученных ее надзору, должны были бы смягчить ее и утешить, но она прожила среди них два года, и ни одна девочка не пожалела о ее отъезде. Кроткая, мягкосердечная Эмилия Седли была единственным человеком, к которому в какой-то мере привязалась Ребекка. Но кто не привязался бы к Эмилии!

Те радости и жизненные блага, которыми наслаждались молодые девицы, ее окружавшие, вызывали у Ребекки мучительную зависть. «Как важничает эта девчонка — только потому, что она внучка какого-то графа! — говори-

ла она об одной из товарок. — Как они все пресмыкаются и подли чают перед этой креолкой из-за сотни тысяч фунтов стерлингов! Я в тысячу раз умнее и красивее этой особы, несмотря на все ее богатство! Я так же благовоспитанна, как эта графская внучка, невзирая на пышность ее родословной, а между тем никто здесь меня не замечает. А ведь, когда я жила у отца, разве мужчины не отказывались от самых веселых балов и пирушек, чтобы провести вечер со мной?» Она решила во что бы то ни стало вырваться на свободу из этой тюрьмы и начала действовать на свой страх и риск, впервые строя планы на будущее.

Вот почему она воспользовалась теми возможностями приобрести кое-какие знания, которые предоставлял ей пансион. Будучи уже изрядной музыкантшей и владея в совершенстве языками, она быстро прошла небольшой курс наук, который считался необходимым для девиц того времени. В музыке она упражнялась непрестанно, и однажды, когда девицы гуляли, а Ребекка оставалась дома, она сыграла одну пьесу так хорошо, что Минерва, услышав ее игру, мудро решила сэкономить расходы на учителя для младших классов и заявила мисс Шарп, что отныне она будет обучать младших девочек и музыке.

Ребекка отказалась — впервые и к полному изумлению величественной начальницы школы.

— Я обязана разговаривать с детьми по-французски, — объявила она резким тоном, — а не учить их музыке и сберегать для вас деньги. Платите мне, и я буду их учить.

Минерва вынуждена была уступить и, конечно, с этого дня невзлюбила Ребекку.

— За тридцать пять лет, — жаловалась она, и вполне справедливо, — я не видела человека, который посмел бы у меня в доме оспаривать мой авторитет. Я пригрела змею на своей груди!

— Змею! Чепуха! — ответила мисс Шарп старой dame, едва не упавшей в обморок от изумления. — Вы взяли меня потому, что я была вам нужна. Между нами не может быть и речи о благодарности! Я ненавижу этот пансион и хочу его покинуть! Я не стану делать здесь ничего такого, что не входит в мои обязанности.

Тщетно старая дама взывала к ней: сознает ли она, что разговаривает с мисс Пинкертон? Ребекка расхохоталась ей в лицо убийственным, дьявольским смехом, который едва не довел начальнику до нервического припадка.

— Дайте мне денег, — сказала девушка, — и отпустите меня на все четыре стороны! Или, еще лучше, устройте мне хорошее место гувернантки в дворянском семействе — вам это легко сделать, если вы пожелаете.

И при всех их дальнейших стычках она постоянно возвращалась к этой теме:

— Мы ненавидим друг друга, устройте мне место — и я готова уйти!

Достойная мисс Пинкертон, хотя и обладала римским носом и тюбаном, была ростом с доброго гренадера и оставалась до сих пор непрекаемой владычицей этих мест, не обладала, однако, ни силой воли, ни твердостью своей маленькой ученицы и потому тщетно боролась с нею, пытаясь ее запугать. Однажды, когда она попробовала публично отчитать Ребекку, та придумала упомянутый нами способ отвечать начальнице по-французски, чем окончательно сразила старуху. Для поддержания в школе престижа власти стало необходимым удалить эту мятежницу, это чудовище, эту змею, эту поджигательницу. И, услыхав, что семейство сэра Питта Кроули ищет гувернантку, мисс Пинкертон порекомендовала на эту должность мисс Шарп, хотя та и была поджигательницей и змей.

— В сущности, — говорила она, — я не могу пожаловаться на поведение мисс Шарп ни в чем, кроме ее отношения ко мне, и высоко ценю ее таланты и достоинства. Что же касается ума и образования, то она делает честь воспитательной системе, принятой в моем учебном заведении.

Таким образом начальница пансиона примирila свою рекомендацию с требованиями совести; договорные обязательства были расторгнуты, и воспитанница получила свободу. Борьба, описанная здесь в немногих строчках, длилась, разумеется, несколько месяцев. И так как мисс Седли, которой в ту пору исполнилось семнадцать лет, как раз собиралась покинуть школу и так как она питала дружеские чувства к мисс Шарп («единственная черта в пове-

дении Эмилии, — говорила Минерва, — которая не по душе ее начальнице»), то мисс Шарп, прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей гувернантки в чужой семье, получила от подруги приглашение погостить у нее недельку. Так открылся мир для этих двух юных девиц. Но если для Эмилии это был совершенно новый, свежий, блистательный мир, в полном, еще не облетевшем цвету, то для Ребекки он не был совершенно новым (уж если говорить правду, то пирожница намекала кое-кому, а тот готов был под присягой подтвердить эти слова кому-то третьему, будто дело у мистера Криспа и мисс Шарп зашло гораздо дальше, чем о том стало известно, и что письмо его было *ответом на другое*). Но кто может знать, что происходило на самом деле? Во всяком случае, если Ребекка не впервые вступала в мир, то все же вступала в него сызнова.

К тому времени, когда молодые девушки доехали до Кенсингтонской заставы, Эмилия еще не позабыла своих подруг, но уже осушила слезы и даже залилась румянцем при виде юного офицера, лейб-гвардейца, который, проезжая мимо на коне, оглядел ее со словами: «Чертовски хорошенъкая девушка, ей-богу!» И прежде чем карета достигла Рассел-сквер, девушки успели вдоволь наговориться о парадных приемах во дворце и о том, являются ли молодые дамы ко двору в пудре и фижмах и будет ли Эмилия удостоена этой чести (что она поедет на бал, даваемый лорд-мэром, это Эмилии было известно). И когда наконец они доехали до дому и мисс Эмилия Седли выпорхнула из кареты, опираясь на руку Самбо, — другой такой счастливой и хорошенъкой девушки нельзя было найти во всем огромном Лондоне. Таково было мнение и негра, и кучера, и с этим соглашались и родители Эмилии, и вся без исключения домашняя челядь, которая высыпала в прихожую и кланялась и приседала, улыбаясь своей молодой госпоже и поздравляя ее с приездом.

Можете быть уверены, что Эмилия показала Ребекке все до единой комнаты, и всякую мелочь в своих комодах, и книги, и фортепьяно, и платья, и все свои ожерелья, броши, кружева и безделушки. Она уговорила Ребекку принять от нее в подарок ожерелье из светлого сердолика, и

бирюзовые серьги, и чудесное кисейное платьице, которое стало ей узко, но зато Ребекке придется как раз впору! Кроме того, Эмилия решила попросить у матери позволения отдать подруге свою белую кашемировую шаль. Она отлично без нее обойдется! Ведь брат Джозеф только что привез ей из Индии две новые.

Увидев две великолепные кашемировые шали, привезенные Джозефом Седли в подарок сестре, Ребекка сказала вполне искренне: «Должно быть, страшно приятно иметь брата!» — и этим без особого труда пробудила жалость в мягкосердечной Эмилии: ведь она совсем одна на свете, сиротка, без друзей и родных!

— Нет, не одна! — сказала Эмилия. — Ты знаешь, Ребекка, что я навсегда останусь твоим другом и буду любить тебя как сестру, — это чистая правда!

— Ах, но это не то же самое, что иметь таких родителей, как у тебя: добрых, богатых, нежных родителей, которые дают тебе все, что бы ты ни попросила, — и так любят тебя, а ведь это всего дороже! Мой бедный пapa не мог мне ничего давать, и у меня было всего-навсего два платьица. А кроме того, иметь брата, милого брата! О, как ты, должно быть, любишь его!

Эмилия засмеялась.

— Что? Ты его не любишь? А сама говоришь, что любишь всех на свете!

— Конечно, люблю... но только...

— Что... только?

— Только Джозефу, по-видимому, мало дела до того, люблю я его или нет. Поверишь ли, вернувшись домой после десятилетнего отсутствия, он подал мне два пальца. Он очень мил и добр, но редко когда говорит со мной; мне кажется, он гораздо больше привязан к своей трубке, чем к своей... — Но тут Эмилия запнулась: зачем отзываться дурно о родном брате? — Он был очень ласков со мной, когда я была ребенком, — прибавила она. — Мне было всего пять лет, когда он уехал.

— Он, наверное, страшно богат? — спросила Ребекка. — Говорят, индийские набобы ужасно богаты!

— Кажется, у него очень большие доходы.

— А твоя невестка, конечно, очаровательная женщина?

— Да что ты! Джозеф не женат! — сказала Эмилия и снова засмеялась.

Возможно, она уже упоминала об этом Ребекке, но девушка, по-видимому, пропустила слова подруги мимо ушей. Во всяком случае, она принялась уверять и клясться, что ожидала увидеть целую кучу племянников и племянниц Эмилии. Она крайне разочарована сообщением, что мистер Седли не женат; ей казалось, что Эмилия говорила ей о женатом брате, а она без ума от маленьких детей.

— Я думала, они тебе надоели в Чизике, — сказала Эмилия, несколько изумленная таким пробуждением нежности в душе подруги. Конечно, будь мисс Шарп постарше, она не скомпрометировала бы себя, высказывая мнения, неискренность которых можно было так легко обнаружить. Но следует помнить, что сейчас ей только девятнадцать лет, она еще не изощрилась в искусстве обманывать — бедное невинное создание! — и вынуждена прокладывать себе жизненный путь собственными силами. Истинный же смысл всех вышеупомянутых вопросов в переводе на язык сердца изобретательной молодой девушки был по-просту таков: «Если мистер Джозеф Седли богат и холост, то почему бы мне не выйти за него замуж? Правда, в моем распоряжении всего лишь две недели, но попытка — не попытка!» И в глубине души она решила предпринять эту похвальную попытку. Она удвоила свою нежность к Эмилии — поцеловала сердоликовое ожерелье, надевая его, и поклялась никогда, никогда с ним не расставаться. Когда позвонил колокол к обеду, она спустилась вниз, обнимая подругу за талию, как это принято у молодых девиц, и так волновалась у двери гостиной, что едва собралась с духом войти.

— Посмотри, милочка, как у меня колотится сердце! — сказала она подруге.

— Нет, не особенно! — сказала Эмилия. — Да входи же, не бойся. Папа ничего плохого тебе не сделает!

## Глава III

### РЕБЕККА ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРИЯТЕЛЯ

Очень полный, одутловатый человек в кожаных штанах и в сапогах, с косынкой, несколько раз обматывавшей его шею почти до самого носа, в красном полосатом жилете и светло-зеленом сюртуке со стальными пуговицами в добрую корону величиной (таков был утренний костюм щеголя, или денди, того времени) читал газету у камина, когда обе девушки вошли; при их появлении он вскочил с кресла, густо покраснел и чуть ли не до бровей спрятал лицо в косынку.

— Да, это я, твоя сестра, Джозеф, — сказала Эмилия, смеясь и пожимая протянутые ей два пальца. — Ты знаешь, я ведь совсем вернулась домой! А это моя подруга, мисс Шарп, о которой ты не раз слышал от меня.

— Нет, никогда, честное слово, — произнесла голова из-за косынки, усиленно качаясь из стороны в сторону. — То есть да... Зверски холодная погода, мисс! — И джентльмен принял яростно размешивать угли в камине, хотя дело происходило в середине июня.

— Какой интересный мужчина, — шепнула Ребекка Эмилии довольно громко.

— Ты так думаешь? — сказала та. — Я передам ему.

— Милочка, ни за что на свете! — воскликнула мисс Шарп, отпрянув от подруги, словно робкая лань. Перед тем она почтительно, как маленькая девочка, присела перед джентльменом, и ее скромные глаза столь упорно созерцали ковер, что было просто чудом, как она успела разглядеть Джозефа.

— Спасибо тебе за чудесные шали, братец, — обратилась Эмилия к джентльмену с кочергой. — Правда, они очаровательны, Ребекка?

— Божественны! — воскликнула мисс Шарп, и взор ее с ковра перенесся прямо на канделябр.

Джозеф продолжал усиленно греметь кочергой и щипцами, отдуваясь и краснея, насколько позволяла желтизна его лица.

— Я не могу делать тебе такие же щедрые подарки, Джозеф, — продолжала сестра, — но в школе я вышила для тебя чудесные подтяжки.

— Боже мой, Эмилия! — воскликнул брат, придя в совершенный ужас. — Что ты говоришь! — И он изо всех сил рванул сонетку, так что это приспособление осталось у него в руке, еще больше увеличив растерянность бедного малого. — Ради бога, взгляни, подана ли моя одноколка. Я не могу ждать. Мне надо ехать. А, чтоб ч... побрал моего грума! Мне надо ехать!

В эту минуту в комнату вошел отец семейства, побрякивая печатками, как подобает истому британскому коммерсанту.

— Ну, что у вас тут, Эмми? — спросил он.

— Джозеф просит меня взглянуть, не подана ли его... его одноколка. Что такое одноколка, папа?

— Это одноконный паланкин, — сказал старый джентльмен, любивший пошутить на свой лад.

Тут Джозеф разразился диким хохотом, но, встретившись взглядом с мисс Шарп, внезапно смолк, словно убитый выстрелом наповал.

— Эта молодая девица — твоя подруга? Очень рад вас видеть, мисс Шарп! Разве вы и Эмми уже повздорили с Джозефом, что он собирается удирать?

— Я обещал Бонэми, одному сослуживцу, отобедать с ним, сэр.

— Негодный! А кто говорил матери, что будет обедать с нами?

— Но не могу же я в этом платье.

— Взгляните на него, мисс Шарп, разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно?

В ответ на эти слова мисс Шарп взглянула, конечно, на свою подругу, и обе залились смехом, к великому удовольствию старого джентльмена.

— Видали ли вы когда такие штаны в пансионе мисс

Пинкerton? — продолжал отец, довольный своим успехом.

— Боже милосердный, перестаньте, сэр! — воскликнул Джозеф.

— Ну вот я и оскорбил его в лучших чувствах! Миссис Седли, дорогая моя, я оскорбил вашего сына в лучших чувствах. Я намекнул на его штаны. Спросите у мисс Шарп, она подтвердит. Ну, полно, Джозеф, будьте с мисс Шарп друзьями, и пойдемте все вместе обедать!

— Сегодня у нас такой пилав, Джозеф, какой ты любишь, а папа привез палтуса, — лучшего нет на всем Биллингсгетском рынке.

— Идем, идем, сэр, предложите руку мисс Шарп, а я пойду следом с этими двумя молодыми женщинами, — сказал отец и, взяв под руки жену и дочь, весело двинулся в столовую.

Если мисс Ребекка Шарп в глубине души решила одержать победу над тучным щеголем, то я не думаю, сударыни, что мы вправе хоть сколько-нибудь осуждать ее за это. Правда, задача уловления женихов обычно с подобающей скромностью препоручается юными особами своим маменькам, но вспомните, что у мисс Шарп нет любящей родительницы, чтобы уладить за нее этот деликатный вопрос, и если она сама не раздобудет себе мужа, то не найдется никого в целом мире, кто оказал бы ей эту услугу. Что заставляет молодых особ «выезжать», как не благородное стремление к браку? Что гонит их толпами на всякие воды? Что принуждает их отплясывать до пяти часов утра в течение долгого сезона? Что заставляет их трудиться над фортепьянными сонатами, разучивать три-четыре романса у модного учителя, по гинее за урок, или играть на арфе, если у них точеные ручки и изящные локотки, или носить зеленые шляпки линкольнского сукна и перья, — что заставляет их делать все это, как не надежда сразить какого-нибудь «подходящего» молодого человека при помощи этих смертоносных луков и стрел? Что заставляет почтенных родителей, скатав ковры, ставить весь

дом вверх дном и тратить пятую часть годового дохода на балы с ужинами и замороженным шампанским? Неужели бескорыстная любовь к себе подобным искреннее желание посмотреть, как веселится и танцует молодежь? Чепуха! Им хочется выдать замуж дочерей. И подобно тому, как простодушная миссис Седли в глубине своего нежного сердца уже вынашивала десятки маленьких планов на счет устройства Эмилии, так и наша прелестная, но не имевшая покровителей Ребекка решила сделать все, что было в ее силах, чтобы добыть себе мужа, который был для нее еще более необходим, чем для ее подруги. Она обладала живым воображением, а кроме того, прочла «Сказки Тысячи и одной ночи» и «Географию» Гютри. Поэтому, узнав у Эмилии, что ее брат очень богат, Ребекка, одеваясь к обеду, уже строила мысленно великолепнейшие воздушные замки, коих сама она была повелительницей, а где-то на заднем плане маячил ее супруг (она его еще не видела, и потому его образ был не вполне отчетлив); она наряжалась в бесконечное множество шалей-тирбанов, увшивалась бриллиантовыми ожерельями и под звуки марша из «Синей Бороды» садилась на слона, чтобы ехать с торжественным визитом к Великому Моголу. О упоительные мечты Альнашара! Счастливое преимущество молодости в том, чтобы предаваться вам, и немало других юных фантазеров задолго до Ребекки Шарп упивались такими восхитительными грэзами!

Джозеф Седли был на двенадцать лет старше своей сестры Эмилии. Он состоял на гражданской службе в Ост-Индской компании и в описываемую нами пору значился в Бенгальском разделе Ост-Индского справочника в качестве коллектора в Богли-Уолахе — должность, как всем известно, почетная и прибыльная. Если читатель захочет узнать, до каких еще более высоких постов дослужился Джозеф в этой компании, мы отсылаем его к тому же справочнику.

Богли-Уолах расположены в живописной уединенной, покрытой джунглями болотистой местности, известной охотою на бекасов, но где нередко можно спугнуть и тигра. Ремгандж, окружной центр, отстоит от него всего на сорок

миль, а еще миль на тридцать дальше находится стоянка кавалерии. Так Джозеф писал домой родителям, когда вступил в исправление должности коллектора. В этой очаровательной местности он прожил около восьми лет в полном одиночестве, почти не видя лица христианского, если не считать тех двух раз в году, когда туда наезжал кавалерийский отряд, чтобы увезти собранные им подати и налоги и доставить их в Калькутту.

По счастью, к описываемому времени он нажил какую-то болезнь печени, для лечения ее вернулся в Европу и теперь вознаграждал себя за вынужденное отшельничество, пользуясь вовсю удобствами и увеселениями у себя на родине. Приехав в Лондон, он не поселился у родителей, а завел отдельную квартиру, как и подобает молодому неунывающему холостяку. До своего отъезда в Индию он был еще слишком молод, чтобы принимать участие в развлечениях столичных жителей, и с тем большим усердием погрузился в них по возвращении домой. Он катался по Парку на собственных лошадях, обедал в модных трактирах (Восточный клуб не был еще изобретен), стал записным театралом, как требовала тогдашняя мода, и появлялся в опере старательно наряженный в плотно облегающие панталоны и треуголку.

Впоследствии, по возвращении в Индию и до конца своих дней, он с величайшим восторгом рассказывал о веселье и забавах той поры, давая понять, что они с Браммеллом были тогда первыми франтами столицы. А между тем он был так же одинок в Лондоне, как и в джунглях своего Богли-Уолаха. Джозеф не знал здесь ни одной живой души, и если бы не доктор да развлечения в виде каломели и боли в печени, он совсем погиб бы от тоски. Это был лентяй, брюзга и бонвиван; один вид женщины из общества обращал его в бегство, — вот почему он редко появлялся в семейном кругу на Рассел-сквер, где был открыт дом и где шутки добродушного старика отца задевали его самолюбие. Тучность причиняла ему немало забот и тревог; по временам он делал отчаянные попытки освободиться от излишков жира, но леность и привычка ни в чем себе не отказывать скоро одерживали верх над его геройскими